



Анатолий Игнатьевич Приставкин
Кукушата, или Жалобная
песнь для успокоения сердца
Серия «Наши ночи и дни для Победы»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139763

Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца: СП Квадрат; Москва; 2015

ISBN 978-5-386-07865-2

Аннотация

Роковые сороковые. Годы войны. Трагичная и правдивая история детей, чьи родители были уничтожены в годы сталинских репрессий. Спецрежимный детдом, в котором живут «кукушата», ничем не отличается от зоны лагерной – никому не нужные, заброшенные, не знающие ни роду ни племени, оборванцы поднимают бунт, чтобы ценой своих непрожитых жизней, отомстить за смерть своего товарища...

«А ведь мы тоже народ, нас миллионы, бросовых... Мы выросли в поле не сами, до нас срезали головки полнозрелым колоскам... А мы, по какому-то году самосев, взошли, никем не ожидаемые и не желанные, как память, как укор о том злодействе до нас, о котором мы сами не могли помнить. Это память в самом нашем происхождении...

У кого родители в лагерях, у кого на фронте, а иные как крошки от стола еще от того пира, который устроили при раскулачивании в тридцатом... Так кто мы? Какой национальности и веры? Кому мы должны платить за наши разбитые, разваленные, скомканные жизни?.. И если не жалобное письмо (песнь) для успокоения собственного сердца самому товарищу Сталину, то хоть вопросы к нему...»

Содержание

1	5
2	8
3	12
4	15
5	18
6	21
7	23
8	26
9	28
10	32
11	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Анатолий Приставкин
Кукушата, или Жалобная
песнь для успокоения сердца

© Приставкин А. И., наследники, 2014

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

1

Ночь как деготь. В сарае темно, и за сараем темно. И темно, и промозгло. Сидим, «дрожжи продаем». Околели, в общем. Значит, скоро утро: под утро всегда холодает.

А про деготь я вспомнил не случайно, вчера, как в сарай залетели, на него наткнулись, в бочке, в углу. На него и на телегу без одного колеса. А как стали замерзать, возникла шальная мысль: не поджечь ли нам эти деготь и телегу, да и сарай заодно, чтобы напоследок погреться!

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Вот именно, кострами, как у этих, у артековцев в кино. Прощальный сбор в конце лета, огонь до неба и счастливые, озаренные пламенем лица.

Взвейтесь кострами... —

и т. д.

У нас тоже был прощальный! Жаль, что сами сгорим. Да кому жаль-то? Самим себя, и то не очень. Не велика, как говорят, потеря. Может, какая сердобольная старуха из голятвинских поселковых, завидев пламя, и перекрестится: мол, отмучились, окаянные, прости им, Боже, их согрешения! А остальные еще с облегчением вздохнут: издохли ироды, туда им и дорога! Жили, небо коптили, как паразиты, так и сдохли не лучше! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Не мой глаз!

А вот и не сдохли еще!

Не сдохли, слышите вы — отцы, матеря, братья, сестры, дорогие папаши и мамыши! Потерпите уж малость, простите великодушно, коли не сразу сгорим. Легавые, что обложили с вечера этот дырявый сараюшко, очень даже крепко берегут нас для вашего же спокойствия. Чтобы спали и не знали ничего, как вы до сих пор с закрытыми глазами да заткнутыми ушами рядом с нами жили. Еще одну ночь переживете, надеюсь. Пока нас менты не схватят. Пока не «обезопасят» — так, что ли, выражаются?

А не схватили до поры, уж извините, потому, что свои драгоценные жизненки, спасенные неизвестной ценой от фронта, для своего и для нашего общего светлого будущего берегут.

У нас, как вы догадываетесь, никакого светлого будущего нет. Мы оторвы, отбросы общества, его дерьмо, экскремент по-научному. А по-нашенски — говно. Нас пора бы давно на помойку, да только сейчас по-настоящему хватились, когда от нас, как выражаются, вонять стало.

От клопов воняет, когда их давят.

Хотели они нас вчера придавить, да мы им хрен в зубы показали. А как они вытащили свой жестяной рупор, именуемый матюгальником, и начали в него кричать, чтобы мы не валяли дурака, а выходили бы по одному, а они обещают нас не бить и ничего плохого нам не делать, — так мы, чтобы они берегли внутри себя свой пердучий пар и зазря его не расходовали, пальнули в них из ружья. Тут они и заткнулись. Как пилюлю проглотили. Хотя дробь наша до них, ясно, не достала. Теперь молчат. Ждут рассвета, а может, и помощи какой-нибудь. Они же у нас храбрецы! Когда злые бывают, то семь мух убивают! А на пацанов, вооруженных одной берданкой, идти и рисковать у них запала нет. Тем более, они не знают, сколько нас и чем мы на самом деле вооружены.

Вообще говоря, я сам не знаю, сколько нас после всей этой заварушки осталось. Пятеро. А может, шестеро. Или семеро...

Теперь сидим и кукуем в нашей клетке. Поскольку мы все Кукушата. Так нас в нашем «спеце» зовут. И никакой это не символ, а фамилия такая. Причем у всех такая одинаковая фамилия: Кукушкины.

Я гляжу наружу, но слышу, как от противоположной стены ухает от кашля Шахтер, отхаркивает свою шахтерскую мокроту. Он сторожит свою сторону и мучается без курева. Ему тринадцать, он чуть старше остальных, и уже дважды удирал из «спеца», и даже поработал полгода на шахте под Тулой. Его, конечно, разыскали, вернули, и с тех пор он курит, а еще отхаркивает черноту. Отхаркнет, сплюнет на ладонь и показывает остальным – вот он, уголек, который в легких. А комочек харкотины, и правда, черного цвета. Такая-то, говорит Шахтер, свобода от нашего «спеца», от которого не скрыться и под землей. Черного цвета свобода, говорит он. Изнутри и снаружи.

Но лучше там, под землей, чем здесь, на земле. Это-то мы сразу для себя решили.

Сверчок и Ангел еще с вечера забрались в телегу и до сих пор с нее не слезли. У Сверчка температура, и он громко стучит зубами. Ангел же боится темноты и скулит от страха. Страх этот от прошлого, которого никто из нас не помнит. Никто не помнит, но что-то внутри нас помнит, если нам, как и Ангелу, временами не вмоготу переносить ночь. Но мы еще притерпелись. Ангел же и в «спеце» ночами не спит, ждет рассвета. Темнота изводит его до тошноты, до обморока.

Рядом с Ангелом и Сверчком Сандра, старается их своим мычанием подбодрить. Сандра не умеет говорить, хотя она вовсе не глухонемая. Она все слышит и все понимает. Говорят, что слова, все до единого, она забыла от испуга. Когда же произошел испуг, она не помнит.

Мы вообще странные существа, создания, зашифрованные в какие-то времена, и лишь наше поведение выдает нашу причастность к чему-то, чего мы не знаем. Спросить же нам некого. А когда нам говорят о нас, то обычно врут.

Сейчас уже можно сказать в прошлом времени: ввали.

По левую руку от меня, почти в углу, расположился мой закадычный дружок Бесик. Зовут его Виссарион, дружки звали Весик. Ну а познав кипучий нетерпеливый характер, сразу переделали имя на Бесика. Он у нас заводила, буян. Не могу вспомнить, но думаю, все, что сейчас с нами произошло, началось с него. Я не говорю, что это он придумал. Он оказался искрой в пороховой бочке.

Я слышу его шепот, обращенный к Моте:

– Ты ружье зарядил? Ты не забыл зарядить? Дай пальнуть разок!

Мотя караулит у двери. Это самое уязвимое место. Мотя единственный среди нас с оружием. Ружье старое, тульского завода, мы его прихватили в одном доме. И ружье, и патронташ. Мотя же вчера из этого ружья пальнул по ментам. Думаю, что стрелял он первый раз в жизни.

Если бы несколько дней назад мне сказали, что Мотя, наш справедливый и мирный Мотя, у которого «все люди хорошие», станет стрелять в какого-нибудь человека, я бы первый не поверил.

Но он стрельнул, и оказалось не страшно. Мы поняли: они нашей стрельбы боятся. А значит, мы будем стрелять еще.

Теперь они там, за бугром, ждут рассвета, будто с рассветом нас легче брать. А по мне, так для их легавого ремесла больше всего подходит именно ночь. Ночь да темнота, как деготь, когда свидетелей нет и когда нам страшно. Не потому ли мы боимся темноты, хотя не все, как Ангел, выдаем свой страх, что остался с той ночи, когда такие же легавые вошли

в наш дом, которого мы не помним, гремя сапогами и двигая мебель? И – в дом. И – в нашу жизнь.

И – в наши души.

Мы-то не помним, а души, наверное, помнят. Из них, как харкотина из нутра Шахтера, кусками выплевывается накопленная в нас чернота. И я понимаю Бесика, почему он выпрашивает у Моти ружье, чтобы разок из него пальнуть по ментам. Бесик при появлении ментов цепенеет, а глаза у него становятся белого цвета. Я стараюсь в этот момент быть рядом с ним, иначе он может броситься и даже кого-то укусить. Мотя ружье ему не дает, зная его такой характер.

Я слушаю, как Сандра утешает Кукушат своим мычанием, думаю о Бесике и о Моте, и еще о Шахтере, и вот что мне приходит в голову: что с ночью у нас покончено. Больше таких ночей у нас не будет. Никогда не будет. Я точно знаю.

А все ведь началось с появления женщины на исходе дня в нашем «спеце».

2

Да, да. Все началось с появления этой женщины. Мы из-за кустов ее сразу засекли. Да и как в нашем глухом поселочке, задрипанных Голяках, не заметить нового человека, да еще если этот человек баба, забредшая по своей дурости в наш спецрежимный детдом?

Из местных, ясно, к нам не приходит никто. Только те, кто у нас работает. Но их немного. Из района тем более не появляются, они давно на нас рукой махнули. Даже местная милиция, которой велено инструкциями за нами следить, не слишком-то себя утруждает. Встречи с нами и на улице – не сахар. Даже не сахарин. А в нашем осином гнезде и подавно....

А женщина появилась у нас под вечер, худенькая, как подросток, с короткой челкой, в берете. В это время мы делили в кустах молодую картошку, вырытую на чужом огороде.

Мотя, который делил, выглянул да засмотрелся, нам его обратно за штаны втягивать пришлось. И Бесик, и Шахтер посмотрели. Остальные не стали. Они о картошке думали.

– Фартовая, – определил Мотя и почему-то засмеялся.

– Сумочка у нее фартовая, – уточнил Бесик. Он еще раз высунул голову и добавил: – Держит сумочку... Как в гости пришла... Графуня... Нуты-футы, ножки гнуты...

– Сорвать, – сказал Шахтер.

– Срезать, – уточнил Сверчок.

– Слямзить, – предложил Корешок.

– ...Была ваша, стала наша...

И уж намостырился Бесик бежать наперерез красоте, чтобы эту, теперь мы все видели, легкомысленно повешенную на ручку сумочку изъять, то есть, говоря их языком, – национализировать, сумочка прямо-таки просилась к нам, она сама хотела, чтобы ее скорей изъяли, но остановил Мотя.

– Замри, Бесик, – произнес спокойно. – Замри, не бесись. А если руки чешутся, то чеши добровольцем еще раз за картошкой! – И пояснил для непонятливых: – Это ведь не прохожая на улице, чтобы у нее на ходу подметки рвать. Она же небось к директору идет. А вдруг она новая воспитательница? Вместо Захаровны, что сбежала? Или – надсмотрщица? Или – повариха?

– А вдруг она чья-то тетя?

Это последнее, про тетю, особенно всем понравилось.

Захохотали, заблеяли, надрывая животики, а Корешок заголосил на высоких тонах, вызвав новый приступ смеха:

– Здра-а-сте... детки... Я ваша тетя!

Мы корчились, мы умирали от нашего юмора. А юмор заключался в том, что никогда, за всю историю существования нашего режимного «спеца» ни одна тетя еще к нам не забрела. Хоть бы силой кто загнал. Но, правда, легенды были. И, как всякие легенды, невероятно живучие, были о том, что раз в сто лет случаются такие невероятности, как появление в детдоме дальних родственников, а то и тетя (тетя!), которые, вот чудеса-то, дав какие-то там обязательства, гарантии, расписки, могут взять племянничка, родственничка дальнего и вытащить его из нашего гиблого места, из наших Голяков, и увести в какую-то другую, неспецрежимную жизнь.

Легенды легендами, но еще ни разу ни один Кукушонок в глаза тех залетных родственников не видел, и надо понимать так, что не увидит. Потому и зубы скалили, и животики надрывали, изображая друг перед другом встречу с фантастической, с мистической, с космической тетей.

– Ах, тетенька, зд-д-ррас-те! А мы-то заждались! Мы-то заждались! Никак седня и не ждали, разрешите, те-я-нька, сумочку подержать! Ах, какой костюмчик, особенно кармашки... Милашки-кармашки, а в кармашечке-то что? Кошелечек в кармашечке-то. Что вы, те-я-нька, сказали? Был кошелечек? Может, и был, а теперь, те-я-нька, нет кошелечка, и браслетика с руки нет, и цепочки с шеи... Ах, те-я-нька, за что мы обожаем тетенек, что приезжают они к нам при полном параде... В таком виде и отпускать жалко... Но отпустим, как не отпустить, кто же тетеньку, родственную душу-то, долго станет держать... Только не рыдайте, не плачьте, не убивайтесь, а то мы сами заплачем от жалости! Ах, вам кошелечек жалко. А нам, думаете, не жалко, но мы же берем и не плачем, мы же суровы! Ах, вы, те-я-нька, платочек лишь просите... Та к нет платочка-то, его давно сперли и унесли... Кто спер, если бы узнать! Но вы не бойтесь, те-я-нька, утрите рукавом слезы, мы его найдем! Найдем! Найдем! Обормоты, шакалы, говноеды несчастные! Им бы по карманам шарить и наших драгоценных тетень обижать! А вы уж не ждите, те-я-нька, не ждите, родненькая, а уезжайте поскорей, а то они ведь могут и последнее взять. С них, те-я-нька, станет... А если захотите, то и опять приезжайте, мы-то зла не копим, мы всегда тетенькам рады! Так, прощайте, прощайте, красота наша! Попутного вам ветра... В за-а-а-д!

Та к мы веселились, не зная, не ведая, что в той пресловутой сумочке, у той драгоценной тетечки лежит нечто, до поры тайное, ну, скажем, как бомба, которая разнесет весь наш «спец» вдребезги. И его, и нас, а всю нашу жизнь в придачу!

Ах, Бесик, Бесик! Не надо было тебя удерживать, когда ты рвался ту красивую сумочку прибрать к рукам. Твои гениальные руки с длинными пальцами, умевшие проникнуть в любое гнездо, чтобы достать яичко, а в любом кармане чувствующие, как у себя дома, должны были тогда это сделать. А если бы они тогда это сделали, то и жизнь наша, может быть, повернулась по-другому.

Впрочем, по-другому – не обязательно лучше.

А между тем женщина, уносившая свою отныне и навсегда кличку «тетенька», прошла в главный корпус и исчезла за дверьми. А жизнь, наша жизнь, потекла в своем обычном русле, в заботах о дне насущном: раздобыть съестное и, конечно, дожидаться, дожить до бесценных минут ужина, хоть было заведомо известно, что это будет за ужин: снова затируха с капелькой постного масла и крошечная паечка хлебца. На ужин хлеба давали меньше всего. Верный расчет директора Чушки на то, что к ночи ста спецрежимным питомцам легче добыть, стащить, достать, своровать пропитание, чем, скажем, поутру. Но где достать?

Раскидывая об этом мозгами, в то время как рот делал свое дело, то есть облизывал тарелку, пытаясь из металла выжать еще одну каплю затирухи, я услышал, как воспитательница Наталья Власовна, по-нашенски – Туся, глуповатая, незлая, немолодая, лет, наверное, тридцати, крикнула, что после ужина всем Кукушатам велят зайти в кабинет директора.

В детдоме знают, что фамилия у нас Кукушкины. Но привыкли и называют Кукушатами, или Выводком, или Гнездом. А если кто попался на рынке, то Стаей, а то и Бандой. И тогда понятно, что речь идет о нас, десятерых. То есть было десять, теперь осталось девять; один, Христик, сбежал месяц назад, а куда – неизвестно.

Новички, узнав о таком количестве Кукушкиных, спрашивают, не братья ли мы, что носим одну фамилию. А если не братья, тут же начинают спорить и доказывать: не может быть, чтобы столько оказалось разом Кукушкиных «не братьев». Мы тогда говорим, что вот в царской армии были Ивановы... Седьмой Иванов, так и выкликали. Почему же, говорим мы, Ивановых может быть в армии семеро и даже больше, а Кукушкиных – не может? И ничего на это возразить нельзя.

А что мы не родственники и не братья-сестры, так это и по виду можно догадаться. Бесик у нас чернявый, вертлявый, как червяк, и носатый, а Сверчок, как мухомор, рыжий. Когда он поет, а поет всегда и знает разных песен мильон и еще одну штуку, лицо краснеет

от напряжения и конопатины на нем еще больше вылезают. Зато Ангел, как и положено ангелу, который спустился на землю, тих, курчав, стеснителен, будто девочка. Сандра против него грубовата и крута, зазря что не говорит, но у нее и мычание на окрик похоже. Мотя и Шахтер покрупней, постарше остальных. Но Шахтер мордастый, толстогубый, доверчивый, а Мотя длинный, худой, справедливый, а рот у него как бы создан для вечной приветливой улыбки, дугой, как у Буратино, и у него все люди на земле хорошие. Дружит Мотя с Сенькой Корешком, золотушным и всегда больным. Когда его в наш «спец» привезли, Наталья Власовна, Туся, задала однажды на уроке Сеньке вопрос: что он взял бы для еды от капусты, вершок или корешок? А Сенька, глупыш, растерялся, потому что в ту пору еще не знал, как растет эта самая капуста, и брякнул, что он взял бы себе корешок. Добрый Мотя вступился за него и выкрикнул, что надо брать вершок! Все засмеялись, а клочки прилипли, и Сеньку стали звать Корешком, а Мотю Вершком... Тогда еще Сенька Корешок был из Кукушат самым младшим, и Мотя, прям как нянька, обхаживал его. Корешки, да и только. А потом появился последний из Кукушкиных, у которого вообще не оказалось имени. Его прозвали Хвостик. Потому Хвостик, что шесть лет и что последний, и потому, что за всеми, и особенно за мной, хвостиком и ходил! Но многие утверждают, что назвали его так после случая, когда у него сзади стал болтаться хвостик и все заметили и захохотали, – это глист торчал, который наполовину вылез прям в дырочку штанов.

Выстроились мы в кабинете у директора: Шахтер, Мотя с Корешком, Бесик, Сандра, я, Ангел, Сверчок, Хвостик. Нас почему-то особенно любят показывать разным комиссиям, когда они приезжают. Не только из района. Из области, а то и из Москвы.

Однажды на машине приехали, все в военном и с портфелями. Выстроили они нас и стали спрашивать, кто о себе что-нибудь помнит: о родителях или о своей жизни, а может, кто-то получал даже письма.

Но мы никаких писем ниоткуда не получали и ничего не помнили. Ну, помнили то, что в прошлом году чуть пожар в детдоме не случился, один из «спеца» под трактор угодил, когда в колхозе за брюквой полез. Да только это им неинтересно было. Так мы и стояли, будто глухие с глухими, уставясь в пол. А они, военные, заглядывали в бумажки, которые «личным делом» прозываются и хранятся где-то у директора под замком, и все что-то бормотали между собой. А потом стали нас к столу выкликать.

Один из военных, курчавый, молодой, сказал мне:

– Надо, дружок, быть доверительней... Раскрепощенней... Мы с вами, видите, как свои...

Никто этих слов не понял, и я не понял, промолчал. А Мотя потом объяснил: это вроде сексота... Мол, скорей стучи на своих, выкладывай, что знаешь, если уж ты такой доверительный, вот они и говорят, что они – свои!

Мы и другие их словечки запомнили.

Один сказал: «Заметна дурная наследственность». Это лысый, пожилой, у него и звезд на погонах было четыре штуки. А другой – бледный, тощий и звезд меньше – ответил:

– Ну и социально опасные. Надо бы режимчик-то ужесточить!

А курчавый, у него всего одна звезда, тоже вставил:

– Режим изоляции от общества благоприятен для их развития.

И тогда пожилой лысый еще сказал, как бы обобщая:

– Как на курорте... Пора для них тут спецремеслуху организовать, чтобы дармовой хлеб не ели. Труд, и только труд, лечит от классовой ненависти. Вот только почему они в стаю сбились? Почему кагалом ходят? Они сами групповщину свою организовали? А может, их кто научил?

Директор тогда сказал, поправив очки, что мы все Кукушкины и потому ходим вместе. Но никакой организации он не заметил и вообще считает, что это детдому никак не вредит.

По случаю, кстати, высокой комиссии директор нацепил золотые очки. Он их где-то стибрил, и все знали, что в стекла он старается не смотреть, через них он ни фиги не видит. Но уж по торжественным случаям обязательно нацепит, ибо считает, что в них его свиное рыло выглядит благороднее.

– А вы не задумывались, отчего столько сразу однофамильцев у вас появилось? – спросил курчавый. – Или они сами такую странную игру затеяли, что взяли одинаковые фамилии?

– Да нет, – сказал директор, – они же глупы... недоразвитые они... Разве не видно?

– Видно, – сказал старший, лысый. И посмотрел на Сандру. Вывел ее из строя и вокруг обошел. – Уникальный случай в медицине, – произнес и попросил рот открыть. Она открыла. – Видите, – сказал, повернувшись к своим, – понимает же?

Директор кивнул:

– Понимает, но не говорит.

– Может, она того... притворяется? Чтобы всех запутать? Такие, между прочим, случаи очень даже бывают.

– Она не может притворяться, дурная потому, – сказал директор. – А фамилия на всех Кукушкиных соответствует документам. Вы же сами убедились.

Лысый и все остальные застегнули свои портфели и на нас не смотрели. А мы стояли и ждали. Чего ждали, понять было нельзя.

– А документы откуда? – спросил лысый, направляясь к двери. Нас как будто здесь вообще не было.

Директор молчал, а тот продолжил, открывая дверь:

– Вот видите... А мы хотим узнать! – и пошел наружу. И все стали выходить, и директор побежал рысцой за ними, и в коридоре в открытую дверь было слышно, как курчавый громко сказал:

– Вы их это... Разведите... Групповщина – штука страшная... Они вам еще дадут жару!

– Конечно! Конечно! – ответил директор. – Немедля разведу! Не волнуйтесь!

Но как нас разведешь, если Кукушкины давно в стаю сбились, и сбились не у директора в кабинете, а на улице, где нас по спискам не проверишь. Как-то попытались они нас «развести», даже какую-то лекцию про международный оппортунизм прочитали, на том дело и кончилось.

Комиссия на машине уехала и больше не появлялась. Но и Кукушкины с тех пор больше в наш «спец» не поступали.

3

Директор, Иван Орехович Степко, носящий между нами кличку Чушка, встретил нас, как всегда, хмуро и велел построиться. Потом он вышел и вернулся с нашей «тетенькой», которую мы засекли на подходе из-за кустов. Тетенька вблизи показалась нам моложе и была красивенькой. Короткая стрижка, как теперь, в войну, зеленый беретик и кокетливая челочка на лбу. Глаза такие большие, темные, прямо-таки воткнулись в нас, будто милиция, изучая наши физиономии. Ну а мы, конечно, уставились на ее сумочку, болтающуюся на руке. Помню, подумалось, что долго эта глупая сумочка не провисит... Тут, в коридоре, ее и срежут, а если до сих пор не срезали, то это от некоторой непривычки перед новым человеком, да еще бабой, да еще красивой такой на вид. Но у нас в «спеце» и на красоту не посмотрят. Красиво лишь то, что можно украсть. Сумочка – вот это красота!

Я отвел глаза и стал смотреть на директора.

Когда нас осматривают, как витрину все равно, мы тоже сперва осматриваем исподтишка осматривающего нас. Потом это нам осточертевает и мы выбираем объект неподвижней. Для этого как раз годится наш директор Чушка. Он на вид рыхлый, тяжеловесный, с одышкой и нас никого не помнит. Он даже не делает вид, что мы его интересуем. Его интересует только его дом, его хозяйство и его свинство.

У него на другом конце поселка свой дом, двор, а на нем много свиней, которым мы носим хлебово из нашей кухни. А когда мы это хлебово несем, мы гущу вылавливаем руками на ходу. Но мама Чушки (это как звучит!) – старая ведьма, специально выходит на улицу, чтобы проследить за нами, а видит она на диво далеко. Она вообще, когда мы появляемся у них во дворе для работы, следит за нами и впрямую, и тайком, и мы знаем, что она нас всех ненавидит. Когда она разговаривает с нами, она вместо звуков выдает шипенье, и в глаза она при этом не смотрит. Но ее сынок тоже никогда в глаза не смотрит. Случись какой разговор, он обращается будто к полу, к столу или стулу, а не к говорящему. Никому из нас не удалось ни разу узнать, какой у него по-настоящему взгляд. Бесик утверждает, что однажды он увидел директора в окно, забравшись на дерево около его кабинета, и будто сразу догадался, что глаз невозможно увидеть потому, что там их нет, а есть две дыры, как в черепае, в которых ничего не увидеть.

– Он смотрит, как из могилы, – сказал Бесик и хотел изобразить, как это бывает, но ничего не получилось.

– А зрачки? – спросили мы.

– Нет там никаких зрачков! – воскликнул он. – Одни дырки. Я когда увидел, чуть с дерева не грохнулся. Не зазя он их стекляшкой прикрывает!

Теперь он был без стекляшек, оправленных в золото.

Директор сказал, обращаясь не к женщине, а к полу:

– Эти – Кукушкины.

И вышел, громко топая, а женщина осталась. И сумочка продолжала болтаться у нее на руке. Я заметил, что, взбудораженный такой беспечностью, Бесик прямо-таки потянулся в сторону сумочки, но его одернули: успеется, мол. Больше же ничего интересного не происходило. Думаю, нам всем одинаково тоскливо подумалось, что сейчас вот и начнутся глупые вопросы насчет фамилии да насчет Сандры и нашего прошлого, которого мы все равно не знаем. Да и знать не хотим.

Но женщина лишь вздохнула, когда директор захлопнул за собой дверь. Лицо ее чуть оживилось. Она сказала:

– Ну, здравствуйте, что ли... Кукушата...

И почему-то засмеялась. Мы вразной, все, кроме, конечно, Сандры, ответили ей, кто «здорово», а кто «наше вам с кисточкой»... А Ангел произнес ни с того ни с сего: «Добре дошли»... И смутился. Потому что это выскочило помимо его воли, и он не знал, что это означает.

Женщина тогда сделала шаг к Ангелу и спросила:

– Ты что же – знаешь болгарский?

Мы все удивились и посмотрели на Ангела. А он от испуга помотал головой, удивленный вопросу не меньше нашего. Никакого болгарского он не знал и нигде сроду не бывал. Просто женщина еще не поняла, что у него выскакивают сами по себе, будто в фокусе, всякие непонятные слова. Ну, как бы у Сандры ее мычания.

Женщина еще раз, но совсем по-другому, всех нас осмотрела, а на мне, я это прямо кожей почувствовал, остановила взгляд. Даже не знаю, почему я почувствовал, что она не как на остальных на меня посмотрела.

Потом она прошла вдоль строя, а увидев Хвостика, задержалась.

– А ты кто же будешь? – спросила удивленно.

Хвостик не растерялся и, в свою очередь, спросил:

– Мы-то Кукушкины, а ты кто такая?

Женщина покачала головой. Такие, мол, Кукушата, что им, даже самому младшему, палец в рот не клади. Она полезла в сумочку – мы прямо глазами воткнулись следом за ней – и достала большую конфету в бумажке.

– Держи, – сказала, – Кукушонок! – и протянула конфету Хвостiku.

У меня, да, наверное, у всех нас, сердце екнуло от такого ошалелого подарка. Я прям почувствовал, как в строю все наши напряглись. Никому из Кукушат не приходилось еще видеть наяву настоящую конфету в фантике, мы о ней лишь по рассказам знали. Подумалось, не только, наверное, мне, чтобы Хвостик конфету втихаря не схавал, а поделил на всех. Да она, конечно, всем и предназначена. Не бывает так, чтобы одному человеку, тем более Хвостiku, который хвостик от нас и есть, отдали на съедение целую конфетину.

Размечтавшись, я сразу и не заметил, что женщина встала передо мной. Я даже вздрогнул от неожиданности, увидев в упор ее глаза. Она смотрела на меня пристально, не отрываясь. И в то же время это был какой-то ужасно грустный взгляд, вот что еще я сразу понял.

Она шевелила губами, но у нее не сразу произнеслось:

– А тебя... Тебя-то как зовут?

– Сергеем, – я ответил и посмотрел на сумочку: может, и мне обломится за такую мою вежливость конфета?

– Сергей... Кукушкин? Сережа, значит.

– Почему Сережа? – спросил я с вызовом. Мне не понравилось, что она так странно произнесла, будто присвоила себе мое имя.

– Серый он! – выкрикнул Бесик, тоже не отрывая своего взгляда от сумочки. Он даже задвигал пальцами, разминая их, как перед работой.

– Как? – спросила она, повернувшись к Бесику. – Серый... Почему Серый?

– Ну, кличка, – ответил я нехотя, поняв, что конфета мне не обломится. Да и вообще долгое внимание начинало надоедать. Пусть бы она с Шахтером нашим поговорила, он бы ей ответил на своем языке. И ни на каком не болгарском, а чисто шахтерском, где через слово всякие «мамы» вспоминаются. А может, и «тети» тоже.

Но женщина, кажется, сама поняла, отстала. Как говорят, отцепилась. Взгляд у нее стал задумчивый, а может, даже расстроенный.

– Вот что, братцы, – сказала как про себя, как через силу и уже не улыбалась. Будто ей стало больно с нами говорить. – Я приехала потому, что... Ищу я родственника... Ищу очень давно, и много я объехала детдомов, приемников...

Она произнесла слово «родственник», и мы тут же, Кукушата, переглянулись: не об этом ли шел разговор! И на тебе! Чудо свершилось!

– Фамилия мальчика, которого я ищу, – Кукушкин, а зовут его Сергей, – сказала женщина и посмотрела на меня.

И все на меня посмотрели. Кто с любопытством, а кто с интересом, с завистью и даже со страхом. И лишь я один никак не отреагировал на слова, будто они меня не касались. Да и правда, касались ли, если на свете тыщи Кукушкиных и многие из них Сергей... И если Хвостик без имени пришел в наш «спец», то и он, в конце концов, и другие могут быть Сергеем!

Тут вошел директор Чушка и спросил не у тетки, а у пола:

– Ну и что? – Как на допросе: что, мол, удалось выпытать?

Наверное, это означало, что он интересуется, хотя и без интереса интересуется, кого тут приезжая нашла. А если никого не нашла, то пора бы ей закругляться, а то ему надоело ждать.

Но женщина, видать, не жила в «спеце», она не поняла прямого намека.

– Простите, – сказала, – я быстро... Я хочу лишь переговорить с Сергеем Кукушкиным. Вы разрешите? – и посмотрела ласково на директора.

А он отупело – когда это с ним так разговаривали! – проследил за ее глазами из-под век и окинул тусклым взглядом меня. Но я его глаз не ухватил. Думаю, что и он меня не увидел. И не прошибла бы его никакая просьба, если бы не умоляющий жест приезжей, которая не сводила с него больших своих, странных, красивых глаз.

– Валяйте, – разрешил он, обращаясь к полу. Но тут же добавил: – Недолго. А остальные... Эти... Из шайки-лейки... Замолкни и марш в зону!

Словечки «замолкни» и «в зону», мы знали, его любимые. Как ни странно, они не отдаляли Чушку от нас, а, наоборот, приближали, делали почти своим. Это ведь были и наши слова. Из нашей жизни. Кукушата, ошастливленные свободой, громко покатались к дверям и пропали. Лишь Мотя оглянулся на меня и сделал знак, понятный всем Кукушатам – палец поднесен ко рту, – мол, мы с тобой, кричи, откликнемся!

Директор, помедлив в дверях – а вдруг без него не обойтись, – убрался с неохотой из своего кабинета.

Я точно знал, что он будет подслушивать. А может, и не будет, все-таки свинья ему дороже какого-то бессмысленного разговора одного из нас, Кукушкиных, с приезжей и, видать, сумасшедшей бабой.

Я тоже стоял и глазел на дверь. А куда мне еще глядеть? Меня вроде арестовали, одного из всех, я и стоял, как арестованный, то есть терпеливо ждал, что могут со мной еще сделать.

А женщина села в директорское кресло и достала папиросы из той же самой сумочки. Господи, и папиросы там тоже были! Знал бы Шахтер, он сам свистнул бы сумочку, не дожидаясь всяких манипуляций Бесика.

Женщина закурила папироску и попросила меня тоже сесть. В кабинете был стул.

– Да садись же! Ближе, ближе... Я не кусаюсь...

Я присел на краешек стула, но не так близко, как она просила.

«Ах, тетенька, не держали бы вы меня...» – подумалось с тоской. Но я сидел и ждал, решив до конца выдержать всю эту казнь. А женщина курила и молчала.

4

– Ну, еще раз... Здравствуй, что ли, – произнесла она. – Забыла представиться... Зовут меня Маша... Мария Ивановна, значит.

Я кивнул. Но про себя-то я знал, что не буду никак ее называть. Разве что для юмора тетенькой, и то не вслух.

– Я тебя давно ищу. Кукушкины по многим детдомам разбросаны, а некоторые в ремесленные училища ушли.

Она спросила:

– Знаешь, сколько Кукушкиных оказалось? Больше тридцати! А ты – среди них... Я ведь тебя искала!

«А я тебя не искал», – захотелось ответить. Но я сдержался. Вот если бы директор наш, Чушка, сейчас вернулся бы да приказал очистить кабинет. Я в этом кабинете всего разок и был – это когда военная комиссия с портфелями нас вызывала. Я его весь глазами обшарил, но ничего полезного для себя не высмотрел. Стол, да шкаф, да портрет Сталина над столом. Под Сталиным надпись: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодородное дерево. И. Сталин». Это, значит, Чушка, как садовник, собирался нас по Сталину выращивать. Да не очень у него выходило. У него свиньи по Сталину лучше выращивались, чем люди.

Я прислушался: за окном негромко, но требовательно разнеслось: «Ку-ку». Наши про-сигналили.

У Кукушат, все равно как у птиц, свои, призывные, звуки есть. Мирлолюбивое кукование означает, что ты жив, здоров, чего и другим желаешь. Резкое, быстрое «ку-ку» – знак тревоги, беги на помощь, кто может. И бегут. И еще одно, горластое, протяжное, как зов трубы... Это по любому серьезному поводу сбор.

Сейчас куковали мирно, но как бы и чуть вопросительно, что означало: «Не дрейфь, мы с тобой, мы тебя ждем».

Я оторвался от окна и вздохнул. «Ах, тетенька, – снова про себя попросил. – Не мучила бы ты меня. Да и себя бы не мучила. Давай простимся... Как в известном довоенном фокс-троте: «И в дальний путь на долгие года...»»

А женщина снова стала закуривать. Я проследил, куда она прежний бычок бросила, чтобы потом для Шахтера подобрать. Будет и от тетеньки польза: лишний раз Шахтеру не идти на станцию, не собирать вдоль насыпи окурки. Два полновесных бычка – такая находка!

Она вдруг спросила, я в то же мгновение понял, что этот вопрос у нее давно за щекой лежал:

– А ты правда считаешь, что твоя фамилия Кукушкин? – И так как я продолжал молчать, она добавила сквозь дым: – Тебя не удивляет, что ваше, ну... гнездо... ваша стая... не случайно возникла? Нет?

– А как она возникла? – спросил я тупо.

– Ну, – сказала женщина Мария Ивановна, – могли, например, вам в распределителе такую фамилию дать. Или...

– Зачем?

– Мало ли зачем. Могли же?

– Зачем? – повторил я, как попка-дурак. Но я дураком сейчас и был.

Тетка не ответила, а снова, не докурив, бросила папироску. А я опять подумал, что бычки у нее остаются роскошные. Шахтеру-то нашему лафа. Хотя я ему сейчас завидую, его свободе, но тоже не зря мучаюсь. Интересно, кто из Кукушат куковал? Трудно по голосу

определить, но я почему-то подумал, что это Бесик. Он всегда за меня волнуется. А может, Мотя.

– Я тебе хочу сказать, Сергей... – произнесла она. – Сказать, что фамилия твоя вовсе не Кукушкин!

Тут я должен был спросить: «А какая же?» Но почему-то не спросил. Я знал, все равно она сама скажет. А торопиться мне теперь некуда. Двенадцать лет жил Кукушкиным, могу пять минут еще пожить. Да и не верил я ей.

– Твоя фамилия Егоров, – произнесла она. – А звать тебя и правда Сергей. Сергей Антонович. А лет тебе одиннадцать. В сентябре двенадцать будет. А знаю это все, Сережа... от твоего родного отца... Антона Петровича.

Добила-таки. Как гусеницей по мне прошлась. И хоть не верил, не мог я ей верить, если хотел дальше жить, но спросил. Себе во вред спросил:

– Вы... Его... Знали?

– Знала. Конечно.

– А где он?

– Сейчас не скажу... Мама у тебя умерла, ты ее не помнишь. Но ты и отца не помнишь?

– Нет, – сказал я.

Слова почему-то начинали застревать у меня в горле, мешали говорить.

– Ну да, когда его... Он, то есть, уходил, это в тридцать девятом. Тебе же шесть лет было!

– Он меня бросил? – И рывком я переспросил: – Он меня бросил? Да?!

– Нет, – ответила тетка, вздрогнув. – Нет, Сергей. – Лицо ее было какое-то испуганное. – Он тебя не бросил! Нет! Нет!

Надо было не поверить и уйти. Надо было сбежать, если хотел еще жить. Но я ждал. Чего я ждал? И зачем мне нужна была какая-то правда, если эта правда все равно опоздала? Лучше бы ее не было совсем. Но вот она, тетка, приехала, тридцать Кукушат счастливо миновала, чтобы именно меня выбрать из тридцати, и выстрелить этой правдой, и убить наповал. А я, дурачок, еще доверчиво ожидал, когда она все это проделает.

– Как тебе сказать... – Тетка полезла в свою сумочку, вынула пачку папирос. Обнаружила, что пачка-то пустая, выкинула, не заметив, что та упала на пол. Чушка завтра придет, кому-то влепит из дежурных за грязь. – Его забрали... Понимаешь?

– На фронт? – спросил я, хотя мог бы вспомнить, что до войны, а это случилось до войны, никакого фронта, наверное, не было.

– Он ушел не на фронт, – произнесла тетка устало. Ей тоже нелегко давался наш разговор. Я только сейчас об этом подумал. Но если она меня не бросает и разговор не бросает, значит, не все, ради чего она приехала, сказала.

Она поднялась. Поглядела на ручные крошечные часики и сказала, что ей нужно поспеть на московский вечерний поезд, иначе она опоздает на работу. Но она приедет. Через несколько дней она приедет пораньше, чтобы поговорить еще. Это очень важно для нас обоих. Для меня, но и для нее тоже. Она долго меня искала и не для того нашла, чтобы потерять. Вот что я должен понять. Да, и еще она просит, пока, пока... – все это на ходу и торопливо, – ничего не рассказывать об услышанном своим друзьям. Ну, то есть Кукушатам, которые тут в окно куковали. И директору тоже. Директору в особенности.

– Ему, кроме своих свиней, ничего не интересно, – сказал почему-то я. Но засек, что тетенька-то наблюдательная, и нашу переключку, как ни дергалась, не пропустила мимо ушей.

– Не знаю, как насчет свиней, но меня он встретил подозрительно, – сказала она, задерживаясь у дверей. – Допрашивал, откуда я приехала да кого ищу и зачем. Думаю, мог бы и

погнать, но я не лыком шита, припугнула его... Так что прошу, если не трудно, говори, что я твоя тетка, понял? Так будет лучше.

Я кивнул. Я не стал спрашивать, для кого это будет лучше. И почему надо говорить «тетка»? А кто же она тогда на самом деле?

Она будто услышала мой немой вопрос, а может, прочла его в моих глазах:

– Приеду, объясню! Счастливо!

Она протянула мне руку. Когда она встала со мной рядом, я увидел, что она невысока и чем-то похожа на Сандру, будто не женщина, а подросток, который не намного старше нас. Она и руку дала, как у нас лишь умеют подавать, не случайным, а своим друзьям, с выбросом вперед: «по петушкам». И я принял и пожал ей руку. Даже не знаю почему. Кто бы она ни была на самом деле, эта тетка, которая не тетка, но которую буду называть теткой, я поверил, что она не врала, как врут остальные. Но именно поэтому мне стало плохо потом, когда она уехала. Так скверно, так муторно, как никогда раньше в моей жизни не бывало.

И она ушла. А я задержал взгляд на портрете товарища Сталина, провожавшего меня чуть вприщур, улыбкой своей мудрой. Вот только про бычки драгоценные для Шахтера, оставшиеся в кабинете вместе с товарищем Сталиным, я почему-то не вспомнил.

5

Кукушат не пришлось скликать, они сами возле крыльца толклись.

Они же первыми свои новости выложили. А новости такие, что новоявленная родственница под названием «тетенька» благополучно убралась в сторону станции и пошарить ее не удалось. Мотя Вершок не разрешил. И директор тоже не сразу к своим свиньям убрался, все под окном торчал, прислушивался к разговору. Но Кукушата это дело вмиг расчухали, затеяли у него под ухом песни похабные орать. Особенно Сверчок старался, ну и остальные помогали. Чушка злился, злился, а потом как гаркнул свое: «Замолкни и в зону!» А кто замолкни-то, если никого не видать. Так, чертыхаясь, и убрался.

– Выкладывай, что за тетка? – сказал нетерпеливый Бесик. – Чего ей от нас надо? – Так и сказал – не от меня, а от нас. Затронув из нас одного, затрагивали всех.

Они стояли вокруг меня, Кукушата, и ждали ответного рассказа. Бесик, Мотя, Корешок рядом с ним, и улыбающийся Ангел, и темноликая Сандра с ярко-голубыми глазами, и Сенька Сверчок, что надрывал ради меня горло, и Шахтер.

При виде Шахтера я про бычки, оставленные в кабинете, вспомнил. Но я не сразу заметил Хвостика и спросил:

– А Хвостик где?

Но тут он и сам вылез из-за спины и крикнул снизу, глаза его сияли от радости:

– Серый! А тетка тебе по правде родня?

Он смотрел на меня восторженно, может, он решил, что, сидя там в кабинете с теткой, я объедался конфетами в бумажках.

– Не знаю, – сказал я Хвостiku, я не хотел ему врать. Ему и Кукушатам, которые сейчас ловили каждое мое слово. – А твоя конфета, Хвостатый, где? Сожрал?

Хвостик разжал кулак и показал яркий фантик.

– Вот, – глаза его в темноте прямо-таки светились.

– Сам слопал? – поразился я.

Но тут влез Мотя и пояснил, что конфету они, Кукушата, как и положено, разыграли на всех, а фантик был как доля. Ну Хвостик и выбрал фантик, польстился на обертку. А мне тоже не стали выделять, решили, что я-то без конфет не останусь. «Была бы тетка, – как заявил Бесик, – а конфета найдется!»

– Ну да, – сказал я. – Была бы тетка... – и погладил Хвостика по голове. Это нас с ним обделили конфетой, которой я так никогда и не попробую.

А Хвостик, вот дурачок, обалдел от счастья и не понимал моего огорчения. Он нюхал фантик, который пах конфетой, и тянул его к моему носу: «Серый, понюхай! Понюхай!»

До отбоя оставались крохи, мне хотелось побыть одному. Я повернулся и пошел, а Кукушата, все до единого, и Хвостик, смотрели мне вслед. Я оглянулся, махнул им рукой. Я крикнул: «Потом... Про тетку и вообще...»

Много разных событий произошло в нашем «спеце». И самая большая неприятность, которую не ждешь, а если и помнишь, то все равно мысленно от себя отдаляешь, хотя она все равно происходит, как неотвратимость, как наказание: это вшиводавка. Время от времени нас гоняют туда, в камеру, которую, по нашему общему мнению, придумали, конечно, фашисты. Нормальному человеку такая душегубка в голову бы не пришла. Загоняют туда кучей, раздевают догола, а потом поджаривают и нас, и наших вшей. Считается, что так нас избавляют друг от друга. Но вши как были, так и остаются, а вот одежда, и без того тухлявая, заплатка на заплатке, в отличие от насекомых, жары не выдерживает и ползет.

Еще в этой камере нас всех насильно обмазывают черным карболовым мылом. Но это только название, что мыло, а на самом деле это деготь. От него невозможно ни отмыться, ни отчиститься. Даже собаки и кошки обегают нас за версту, а воробьи с испуга при нашем появлении бросают свои гнезда. Но самое главное, этот ядовитый, неистребимый запах выдает нас в публичных местах с головой похуже, чем клеймо, которым метили каторжников. Клеймо хоть можно скрыть, а как спрячешь запах, если несет за версту!

Наш Чушка, он же директор, Иван Орехович Степко... Я впервые сейчас задумался: а почему Орехович? Если я от Антона, он что же, от Ореха, что ли, родился? Так вот, наш Чушка устраивает во время вшиводавки шмоны, и все, что мы не успели заханырить по заначкам, отбирает. На этот раз у Корешка рогатку нашли, хоть он ее через штанину на пол спустил, но заметили, забрали, изничтожили: порезали на куски. Шахтер свой драгоценный табачок сам в толчок спустил. А глупый Хвостик, спасая фантик, засунул его в рот, за щеку, где он превратился в кашу. Но особенно долго Чушка потрошил почему-то меня. Карманы вывернул, и за подкладкой шарил, и в калоши заглянул, я калоши вместо ботинок ношу. Движения у него быстрые, привычно-уверенные, он-то знает, где у нас искать! Так и мы ведь тоже знаем. Я, к примеру, ношу с собой книгу под названием «История»: век будут шарить, но не найдут... А найдут, я все равно ее назубок знаю! Она всегда моя. Впрочем, я понял – ищет Чушка что-нибудь, оставленное у меня теткой, которую он сразу невзлюбил. Да и за что ему любить тетку, которая вмешалась в нашу жизнь, бесконтрольно ходила по «спецу», вела неизвестные, никем не подслушанные разговоры?

Не ради ли этого Чушка и вшиводавку-вшивобойку свою ненавистную, свиная рожа, организовал! Организовал, но ничего, понятно, не нашел от тетки, и не мог найти. Где ему, тупому, догадаться: то, что она оставила, в кармане не лежит. Ни за подкладкой, ни в калоше! А жжет похуже маленькой вошки. И не выжаришь ста градусами, и карболкой не перешибешь, которая хуже фашистских удушающих газов! А того тяжелее, что невидимо ношу, и мучаюсь, и доверять никому не могу, даже Кукушатам.

Пока меня обшаривали и наизнанку выворачивали, я мозги наизнанку вывернул в поисках своего начала. А начало мое, судя по всему, находится в распределителе, которого я не помню.

Но вот я сказал: «Не помню», – а ведь что-то я помнил, да забыл. Ну, например, как во втором классе, когда мы уже писать научились и в пионеры готовились – а может, это был уже третий, – нам продиктовали сочинение, где каждый из нас написал, что мы отрекаемся от каких-то предателей и изменников, которых мы не знаем и знать не хотим.

Я еще это слово запомнил: «Отрекаемся», – потому что оно среди ребят смех вызвало... Кто-то переименовал: «Отругаемся»... А другой повторил: «Стыкаемся»... Или «Отрыгаемся»... И пошли придумывать, и запомнилось, а остальное из того, что мы писали, начисто забылось. А вот когда бумажки собрали, то нас учитель похвалил, что вот-де мы стали совсем сознательными и, значит, нас скоро примут в пионеры. А у пионеров лозунг такой: «Пионер, к борьбе за дело Ленина – Сталина будь готов!» А мы должны хором ответить: «Всегда готов!»

Тут мы заорали: «Всегда готов!» – и все решили скорей вступать в пионеры.

«Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело Ленина – Сталина, за победу коммунизма...»

Выучили наизусть, даже репетировали, как громче и пламеннее произнести, чтобы... Чтобы они это поняли – мы и вправду готовы бороться. Только никому наша борьба не была нужна. Это до нас потом дошло.

Пришла «сверху» бумага, где объяснялось, что мы на особом режиме и в пионеры еще не годимся. Да к тому же галстуков в стране не хватает и значков-зажимов тоже, и все это

дело заглохло. У нас если что делается, то обязательно на века и навсегда. И это тоже на века, то есть навсегда заглохло. Нам только шефов разрешили. И то не сразу.

6

А началось все давно, когда явились в наш «спец» руководители поселка и стали нам, собрав в столовой, объяснять, как они в качестве благородной помощи безродным, да беспризорным, да запущенным до крайности детям хотят взять над ними, то есть над нами, шефство.

Что это означает, мы поперву и не поняли.

Хоть шефы и оказались солидные, нам директор опосля объяснил. Был начальник поселковой милиции по кличке Наполеончик, которого мы и без Чушки знали, что вся его легава милиция – три с половиной инвалида! Был и наш директор школы, который в классе историю читает, мы его Ужом зовем. А на самом деле зовут его Иван Иванович Сатеев. Был еще со станции начальник, который на наших девочек заглядывался, Козлов, и был редактор газеты «Красный паровоз», эту газету очень даже мы любили, она на курево шла. Чушка ее в кабинете у себя хранил и читал лишь вслух и лишь сам, даже Тусе не доверял читать. Был начальник ОРСа, круглый, щекастый, его звали Витя Помидор, который нас якобы снабжал, а он, конечно, не снабжал, а обирал, как ему и положено было, и еще один от поселкового совета, и артели инвалидов, и швейной фабрики.

Я только заметил, что встали они так, чтобы не прикасаться к нашим вещам, и к стенам, и к стульям, чтобы невзначай не набрать насекомых.

Да это не только я заметил, но и другие Кукушата, а Бесик, сидевший впереди, не будь дурак, когда понял, что жратвой пока не пахнет, даже нашим собственным ужином, стал громко чесаться и так шумно под боком скрести, что гости вдруг заторопились домой.

Чушка не допер, пытался их удержать. Он по этому случаю нацепил ворованные золотые очки и сказал, что шефство – дело серьезное, потому что общественность, которая к нам пришла, хочет превратить наш «спец» из гнезда воровского, сомнительной репутации и преступного по своей сущности и, по общему мнению, просто разбойного, в пролетарскую рабочую ячейку, глубоко трудовую и потому социалистическую. На первый случай, значит, будем мы коллективно на личных хозяйствах названных товарищей шефов помогать, куры там, козы, свиньи опять же... Тут при родном-то словце наш Чушка весь засветился, и очки у него торжественно заблестели.

– А когда же пожрать будет? – спросил Бесик.

– Вы у меня, знаете, где сидите с вашей прожорливостью? – и Чушка показал на свой загривок.

Потом посмотрел на шефов, которые ему осторожно улыбались, и рассказал анекдотец. Про то, как человек с портфелем пришел в магазин, отоварился на целый месяц, ну, хлебом, крупой, селедкой... А потом открыл портфель и стал туда забрасывать свой продукт, а оттуда лишь чавканье раздается, да громкое, прям на весь магазин! Люди из очереди удивились, окружили человека, спрашивают: «А кто это у вас живет там, в портфеле?» А человек отвечает: «Сам не знаю, кто там живет... Но жрет здорово!..»

И Чушка захохотал, довольный своим рассказом. И шефы стали дыбиться, они сразу поняли, что это мы, которые из «спеца», сидим на загривке у директора, то есть в его портфеле, и хоть мы неизвестно кто, но «жрем здорово». Так надо было этот Чушкин юмор понимать.

А мы все, Кукушата да и остальные из «спеца», сообразив наконец, что дело идет о работе, стали вслед за Бесиком громко чесаться, а иные потряхивали своей одеждой или даже выискивали какую-нибудь вошь, демонстрируя ее и беря на зуб и пристукивая снизу по челюсти рукой.

Поселковое начальство смылось, как говорят, смотало удочки, а шефство с этого дня началось.

7

Сегодня всех Кукушат послали работать к директору школы, которого в поселке зовут Иван Иванович, а мы так просто Уж. И стихи про него сочинены, уж не знаю кем. «Наш Уж – историк к тому ж».

Отчего именно Уж, мы не знаем, это до нас прозвано. Может, оттого, что весь он длинный и нескладный, как глиста. Но некоторые утверждают, что он неистовый рыболов и обожает ужение. Но тогда при чем тут кличка?

История, которую он у нас ведет, странная, судя по всему, он ее терпеть не может. И кое-как отбарабанив текст о крепостных, реформах и прочем, он открывает свою главную в жизни книгу Сабанеева о рыбах и зачитывает нам наиболее захватывающие места о ловле угрей, лещей и окуней.

Один раз я его спросил:

– Иван Иваныч, а кто такой Навуходоносор?

– Кто-кто? – спросил он почему-то, ужимаясь на своем стуле.

– Ну, этот царь, который халдеями правил... Он евреев на сорок лет переселил целым народом... У него все народы каналы строили, ну как у нас Беломорканал... Он их подальше в пустыню, в лагеря сажал... А в городе он себе памятников наставил...

Мне показалось, что Уж от таких моих слов совсем под стол сполз. Откуда-то снизу до меня донеслось:

– Этого не было.

Я удивился, потому что в моей книжке, которая «История», это все было.

– А что же было? – спросил тогда я.

– Ничего не было, – быстро ответил он, впиваясь, как в спасителя, в толстого Сабанеева. – Вот что было, – произнес он, задыхаясь, и открыл книгу. – Здесь красота, здесь поэзия! А тебе известно, Кукушкин, что среди преступников, как утверждает милиция, не встречается любителей рыбной ловли?

Кукушкиным он называл меня безошибочно лишь потому, что он всех из «спеца» на всякий случай так зовет. Легче запомнить.

– Это Наполеончик так утверждает? – спросил Мотя. – Так он и сам не ловит! Значит ли, что он жулик?

– Ну, я же этого не говорил, – мрачно отказывался Уж, демонстрируя тем самым свое явное отрицательное отношение к своему ближайшему соседу по дому.

А Бесик весело добавил:

– Он ловит... Только в мутной водичке нашего брата!

– А у Навуходоносора так прямо убивали, и все тут, – сказал я. – Да он и сам это любил делать, особенно выкалывать глаза! Как говорят, удовольствие получал!

– Ну да! Правда? – спросил Мотя.

– Этого не было! – быстро произнес Уж.

И весь класс завопил:

– А что же было?

– Да ничего не было, – сказал, успокаиваясь, Уж и, вызвав к доске Мотю, попросил его почитать вслух главу Сабанеева о лещах.

При этом он от счастья зажмурил глаза и, вздыхая, произнес:

– Моя бы воля, так я бы вам всем в вашем «спеце» по удочке в руку и на речку, чтобы в жуликов совсем не превратились... Вот будет моя очередь, так и сделаю... В порядке шефства заставлю удить!

Только на этот раз удить не пришлось, и все потому, что Уж у завезли дрова. Ну, то есть их завезли не одному Ужу, но и Наполеончику, и такая история вышла...

Наполеончик, как ему и полагалось, сообразил первый, что к чему, и, вызвав нас для шефства, с нашей помощью перетащил дрова к своему забору. Эти два правила математики: отнять да разделить – у легавых прямо-таки в крови! Вот у кого «спецам» поучиться! Но Уж, не будь дураком, вызвал нас, в свою очередь, и приказал все дрова перетащить от забора Наполеончика к своему падающему забору. Благодаря дровам он и не упал. И хоть жена Наполеончика Сильва честила нас на чем свет стоит, обзывая и разбойниками, и грабителями, мы добросовестно, как Тимур и его команда, все, что от нас требовали, выполнили.

На прошлой неделе Наполеончик нам снова приказал водворить дрова на старое место. Уж, на свое несчастье, был в это время на рыбалке. Мы дрова перетащили и даже начали пилить, но пошел дождь, и дрова так и остались мокнуть на улице.

Теперь нас призывал Уж, и мы сразу поняли, какую работу нам придется сегодня выполнять. Мы хором заорали: «На дворе трава, на траве непонятно чьи дрова!» Когда мы, подобно Тимуру и его команде, пришли к дому директора школы, то застали необыкновенную картину. У забора прямо на дровах стоял в позе полководца наш Наполеончик и молча смотрел, как мы направляемся к дровам. Уж стоял у своей очень ободранной, никогда не закрывающейся калитки и кричал нам:

– Берите, берите, не бойтесь... Это дрова мои, и я за них отвечаю.

Наполеончик был в галифе и нижней белой рубаше, но кителя с погонами он не надел. Глядя на нас, а не на директора, он произнес громко:

– Вы что же думаете, я разрешу вам стащить мои дрова? Да я акт составлю и привлеку всех вас как хулиганов к ответственности.

– Он составит, – сказала его дородная молодая жена Сильва, а сын Карасик из-за спины показал нам язык.

– Не составит, не составит... – произнес Уж убежденно. – Он не имеет права вам угрожать.

– А вот и составит, – ответила жена Наполеончика.

– Сегодня вы у меня шефствуете, – сказал директор. – И я велю вам перетащить мои дрова к моему забору.

– Их заберут в милицию, – сказала жена Наполеончика. – Вы этого хотите?

– Ну, смотрите, – сказал нам директор. – При вашей безграмотности я вас в школе держать не буду. А я-то еще хотел из вас честных людей сделать!

Мы, все Кукушата, стояли между двумя калитками и слушали, как хозяева переругиваются. Жена Наполеончика, а потом и он сам начали кричать на директора, что он голодранец и пусторукий хозяин, даже грядки у себя не мог вскопать, куда ему еще чужие дрова. Коль ничего своего нет, так и дрова не помогут. А директор уныло, но без пауз долдонил о своем праве иметь по разнарядке поссовета дрова, и от тех дров он не отступится, даже если начальник милиции приведет сюда весь свой конвой и заключит его в тюрьму.

– Сажай! – кричал он и выставлял две руки вперед, показывая: вот он готов, чтобы на них надели наручники. – Веди меня на каторгу под кандалный звон... Но я и там скажу, что дрова были мои... Только мои... И я их лучше спалю тут на улице, но никому не отдам.

Он и правда принес бутылку с керосином, спички и, весь извиваясь, сейчас он и правда был похож на змею, подошел к тому краю, где стоял Наполеончик, плеснул из бутылки желтый керосин, забрызгав милицейский сапог. Все: и Наполеончик, и его жена Сильва, и Карасик, и мы – следили за его действиями. Разве можно было поверить, что Уж по своей воле начнет жечь собственное добро. И когда дрова все же загорелись, сперва едва-едва, дымя и стреляя, Наполеончик быстро соскочил с кучи и, подбежав на безопасное расстояние к директору, закричал:

– Вот и видно, что дрова-то не твои! Не твои! Да! Потому что своих дров никто бы поджигать не стал! Да! А я по такому поводу сейчас удалюсь в дом и составлю акт, а все, кто видел, – при этом он указал на нас, – подтвердят и будут свидетелями твоего позорного преступления! Да!

И он, решительно топая керосиновыми сапогами, пошел в дом и Сильве и сыну тоже приказал идти.

– Нечего смотреть на уголовника! По нему тюрьма плачет!

А директор Уж вдогонку ему закричал, оскалив зубы и изгибаясь во все стороны, будто на него напала корча:

– Ага! Не понравилось! Бумагу пошел марать! Та к марай, марай! Только не забудь в ней записать, что я жгу дрова, имея на это полное право, так как они мне принадлежат!

Он высунул за спиной Наполеончика язык, потом повернулся и тоже ушел.

Остались мы да полыхающие дрова. Нам бы хоть несколько таких поленьев: мы прошлую зиму мерзли до костей. Но перетаскивать полыхающие теперь уже всю дрова мы не могли и, завершив на сегодня шефство, ушли купаться. Думаю, что Тимур и его команда поступили бы точно так же. С речки было видно, как над крышами поселка стоит черный дым. А когда, вволю накупавшись, мы возвращались мимо тех дров, то их уже не было, как не было и забора у директора – он сгорел вместе с дровами.

– А были ли дрова? – невинно спросил Корешок, почесываясь. У него разыгралась чесотка.

На что мы сразу же хором ответили:

– Этого не было!

– А что же было?

– Ничего не было!

8

Тут прибежала Туся, ахнула, решив, что мы сами спалили эти несчастные дрова. Вот и выпускай нас из-под охраны, мы, того гляди, и поселок сожжем.

Но тут она увидела меня и осеклась:

– Ох, забыла... Тебя же ищут!

– Кто меня ищет? – спросил я, дурачась. – Не собака ли на помойке?

– Тебя правда ищут, – сказала Туся. – К тебе тетя приехала.

– Какая еще тетя... – Я хотел уже нагрубить и тут вспомнил, что и правда тетя, которая не тетя, обещала приехать. И хоть обещанного три года ждут, а я так и вовсе не ждал, ибо никому из них, из этих, что вокруг, не верил. Но вот приехала, не обманула. А если по правде, то я вовсе ее не забывал, только сам придумал и сам поверил, что забыл и что она мне не нужна. А теперь не знал, рад я или не рад, что она объявилась.

– Ладно, – сказал я Тусе, – приду. Она где? У директора?

– Нет. Она на улице. Ивана Ореховича сегодня нет.

– И не надо. А лучше бы и ее не надо.

Но тут вмешался Мотя.

– Она хорошая... – сказал он.

И другие все стали говорить, чтобы я шел. Может, она конфет привезла или еще чего пожрать.

А Хвостик сказал:

– Серый, ты иди. У нас нет тети, а у тебя есть. Ты потом позови меня, я хочу совсем чуть-чуть около тети постоять.

Я пообещал Хвосту взять его в другой раз, чтобы он постоял около тети, и ушел.

Тетка сидела на крыльце и, завидев меня, поднялась. Может, она ждала, что я брошусь к ней от радости. Но я не бросился к ней и никакой радости не проявил. Я поздоровался и молча ждал, что она скажет. А она будто не замечала моего настроения, была такой энергичной, разговорчивой и все говорила, говорила.

– Вот отпросилась снова и приехала на весь день. И теперь мы можем не толкаться тут, на глазах «спецов» – так их зовут? – а куда-нибудь пойти.

– Куда? – спросил я хмуро.

– А разве некуда? У вас за поселком поле, речка...

– Ну, это далеко, – сказал я.

Хотя я-то знал, что для нас это никогда не считалось далеко, мы туда готовы на дню по сто раз бегать, когда отпускают. Я просто хотел дать тетке понять, что мне не слишком охота куда-то тащиться для ненужных разговоров.

Но тетка напрочь не замечала моего дурного настроения.

Она весело произнесла:

– Не надорвемся. Ваша воспитательница, Наталья Власовна... Ее ведь так зовут?

– Туся, – уточнил я. А про себя добавил: а еще ее дурой зовут!

– Ну вот. Я с ней поговорила. Она отпускает тебя до вечера.

– А обед? – спросил я. – Кто обед отпустит?

Не было такого случая, чтобы кто-нибудь в «спеце» по своей воле пропустил кормежку. Можно оторваться на станцию или в поселок, хоть за это наказывают. Но не дай бог никому прозевать свою пайку. Пайка – дело священное, неприкасаемое, это не объяснишь никакой заезжей тетке. Но она и сама по выражению моего лица догадалась, что разговор ведется о чем-то таком, что не подлежит обсуждению. Это незыблемо, как Уголовный кодекс, о котором нам долбят каждый день.

– Но ведь я... накормлю, – добавила тетка неуверенно.

Подумалось, что мы вообще с теткой на разных языках говорим и никак друг друга понять не можем.

– Ладно, – сказала тетка, поджав губу, и посмотрела на крошечные часики на руке. Как их до сих пор не срезали? – Я тебя все равно подожду.

Одолжила, называется. «Можешь и не ждать!» – чуть не сказал, да спохватился. У нее ведь для меня шамовка там какая-то припрятана. Глупо оставаться в «спеце» без обеда по своей воле, но так же глупо отказаться от тетки с ее шамовкой.

– Пойдем, что ли, – бросил ей на ходу, выскакивая из столовой. Нарочно грубил, пусть она не считает, что если она с шамовкой, то я от нее завишу.

И она, терпеливо ожидавшая меня, наверное, целый час, подхватила, как девочка, и кинулась догонять, даже не обижаясь на такое мое обращение.

– Ты не думай, – сказал я ей по дороге, – что я пошел, чтобы пожрать на халяву... Я вовсе не из-за твоей шамовки, а сам по себе.

– Я так и не думаю, – ответила она. – Но ты меня эти дни ждал?

– Нет, – сказал я правду. – Не ждал.

– А я приехала... И ты, Сергей, знал, что я приеду. Правда?

Я заметил, что она больше ни разу не назвала меня Сережей. Баба, но поддается дрессировке!

– Не знал, – ответил я. – Откуда мне знать, что ты приедешь?

– Но я же обещала!

– Мало ли кто чего обещает!

– Да, правда, – согласилась она вдруг. – А ты не злись. Меня терпеть долго не придется. Я к тебе последний раз приехала. Завтра или послезавтра мы на фронт отправляемся!

Я мог бы спросить: «На какой фронт?», или «Правда? На фронт?», или «Неужели на фронт!» – как говорят по радио и в газетах, когда провожают на фронт. Но я не спросил и ничего не пожелал. Сейчас воюют все, и девчат тоже гребут, это я знал. У нас в поселке старики и старухи остались. Лишь Наполеончик да директор школы не воюют. Но Уж в финскую что-то у себя в кишках отморозил, он жрать-то по-настоящему не может, оттого, наверное, он и историю не переваривает... В ней дат много! А вот Наполеончик, тот жрет и не подавится, но все равно не воюет. Да и наш директор, Иван Орехович Чушка, тоже не воюет. То есть он воюет только с нами, с теми, кто ему послан в «спец».

И я сказал тетке:

– А Чушку не берут на фронт!

– Та к он же из надзирателей.

– Из... кого?

– Я думаю, что он из лагерников... Словечки-то у него, я в ужас пришла... «Зона»... «Замолкни»... Он и со мной так разговаривал, что я подумала: вот-вот возьмет и арестует.

– Значит, он не директор? – спросил я.

– Ну, как тебе объяснить... – Тетка шла и оглядывалась на дома. Дома у нас в поселке – деревянные избы, и ей, наверное, было интересно. – Он какой-то сдвинутый... Мрачный... Нелюдимый, так?

Я кивнул. Уж мы-то знали, что он и правда чокнутый, а вот как тетка догадалась, она-то его всего один раз видела.

– Потому и не берут, – сказала тетка. – Сдвинулся... На работе... А детей охранять с его специальностью ему сам бог велел. Он же говорит: «Шаг влево, шаг вправо...»

– Прыжок вверх – считается за побег! – закончил я весело.

Тетка покачала головой на мое такое веселье и ничего не сказала.

9

Поселочек у нас крошечный. Раньше он был деревней, а стал узловой станцией, большинство жителей служат на железной дороге. Уже в недавнее время, при нас, построили мастерскую для шитья военной одежды. А в церкви полуразрушенной – говорят, что в какие-то незапамятные времена там даже жили беспризорные, они-то и ободрали ее – теперь размещается мастерская по изготовлению колючей проволоки. Мы там бывали не раз, когда нас посылали шефствовать, и даже крутили машину, выпрямляющую проволоку. А огромные мотки готовой «колючки» лежат во дворе церкви на старых могилах и даже на станции. Куда ее столько делают, мы не знаем. Говорят, нужно для загородки, так в одном нашем поселке «колючки» столько, что по экватору можно землю огородить! Впрочем, от этой мастерской всего и прибыли, что моток на память сунешь в карман, а вот в пошивочной – ее именуют громко фабрикой – нам лоскутки разрешают брать для заплаток. А Сандра из лоскутков даже платье себе сшила и в нем ходит.

Мы миновали церковь и фабрику и вдоль линии железной дороги вышли к редким кустикам, за которыми было поле. Но мы далеко в поле не пошли. Присели между насыпью и каким-то деревянным брошенным сараем, на траве. Сияло солнце. Было тепло.

Тетка, которую сегодня язык не поворачивался так называть, в короткой юбочке, в белой кофте была такая молодая, что вся светилась; я даже не представлял, что женщины могут светиться. Она извлекла из сумки полотенце, расстелила его на траве. Потом достала трофейную банку консервов, нож с деревянной ручкой, лук, огурцы, несколько сваренных картофелин и яиц и еще масло, настоящее сливочное, в стеклянной баночке, я его никогда не пробовал, но однажды видел у директора Чушки в доме. Но я и трофейные консервы тоже видел издали. Кукушата умрут, когда узнают, чем я тут обжирался! Может, пустую банку захватить на память, когда съедем? У банки и запах такой: понюхаешь – и почти сыт.

Но, конечно, про запах это я хватил, от запаха, если честно, еще больше есть захотелось. Я старался не смотреть, как возится тетка, как режет, чистит, она еще и полбухарика хлеба достала, но дух от всего, что выложила, разъедал меня до пяток. Даже закружилась голова. И хоть я не мог смотреть, но почему-то все отчетливо различал и только не мог понять, зачем все это богатство портить, резать, оно и само пойдет, нерезаное: кусай да глотай... И еще такие мысли лезли в голову: откуда так много люди жрать сразу берут? Захочешь, сразу столько не наворуешь... А на рынке если... Это же тыщу рублей надо!

Но сколько терпелка ни держит, и она кончается. И в этот самый момент тетка сказала: – О чем задумался, Сергей? Давай поедим, что ли...

Ели мы недолго, так мгновенно все проскочило, я и не заметил. Одно запомнил: тетка-то почти и не ела... Вот у нее, сразу видно, терпежу много! А я жевал, жевал, смотрю, а уж жевать нечего. И тогда я еще обратил внимание, что она внимательно меня рассматривает, прямо с какой-то жалостью. Мне даже показалось, что глаза у нее блестят, но, может быть, они блестели от лука. Я, когда лук жру, тоже плачу.

– Ну, – спросила она, налив мне в кружку сладкой воды из бутылки. – Тебе про отца рассказать?

– Валяй, – разрешил я.

Накормили, напоили, теперь и байки какие можно послушать. Она это заработала. Тетенька. Ни за что ни про что накормить. Да еще просительно в рот заглядывает. Кому такое не понравится?

– Ему было тридцать пять... Антону Петровичу, когда мы с ним познакомились. Мама твоя умерла. Он был один, а ты... Тебя он устроил в садик «на неделю». Ты меня слушаешь?

Я кивнул. Я слушал. Странно только, что это все было как бы про меня, но не про меня. Мама, отец... Садик... Какой садик, если я всю жизнь детдомовский! Ей бы, тетке, моей кормилице, на ухо бы проорать так, чтобы услышала... детдомовский я... Из «спеца»... И никаких садиков! Огородиков! Я ведь не какой-нибудь сын Наполеончика Карасик... Садик это у него, не у меня!

– Отец твой, Антон Петрович, – произнесла тетка ровно, – был, ну как тебе сказать... Он был инженер-конструктор, большая шишка! Несмотря на это, добрый, отзывчивый...

– Ага, – сказал я, вспомнив Мотю. – Хороший человек!

– Да! Хороший!

– Понятно, – кивнул я и стал смотреть в поле.

– Ты что-то сказал, Сергей?

– Нет. Это так, для памяти.

Она задумалась. Короткая челочка на лбу и большие, огромные темные глаза. Отец, который не отец, называл тетку, которая не тетка, наверное, Машей. Еще бы, красивая тетка Маша! Небось увидал Антон Петрович, конструктор, что она еще и консервами со сливочным маслом кормит. Губа у инженера-конструктора была не дура. Как видите, я после трофейных консервов тоже хорошим становлюсь.

– Он в конструкторском бюро, КБ называется, самолеты создавал. А я там же работала, при медсанчасти. Я ведь доктор, врач, лечу... Ну, и однажды он ко мне пришел... Простудился на своем аэродроме, при испытании. И смеется, говорит, я все не лечу, а ты – лечишь, вот вылетим с тобой, Машка, в трубу... А у самого – температура... А самолет-то военный, его сдавать надо... Но, правда, сдал... Сейчас они везде на фронте, ЕР-пять зовутся, может, слышал?

Маша просительно посмотрела на меня. Ей очень хотелось, чтобы я слышал и знал, что они, эти самые, которые в температуре этот... изобрел... сдал...

Я сжалился над теткой ради масла да тушенки и кивнул. Только вот историю про папочку я сам не хуже бы выдумал. Да у нас в «спеце» чуть не каждый второй такое сочинит про папочку-героя, уши развесит... И летчик Талалихин, и кавалерист Доватор, и... Сплошь кругом герои, среди них только конструктора боевых самолетов до сих пор не хватало!

Мне вдруг расхотелось тетку слушать. Я и до этого-то не очень слушал, но слушал. А когда она на мою жизнь такую знаменитость повесила и про конструктора стала заливать, я и совсем слушать перестал. Раздумывал о погоде, о наших шефских делах и о том еще, что середина августа и скоро погонят в школу. Может, даже задремал я в тихом блаженном состоянии не испытываемой прежде сытости и как-то пропустил главное. Меня насторожили лишь последние слова тетки:

– Они его обвинили в том, что будто он... фашистам свое изобретение, самолет, мол, чертежи... Продал...

– Кто? – спросил я глупо. Ну и олух царя небесного я был. – Антон Петрович? Продал? Самолет?

Маша посмотрела на меня странно:

– Это мне он Антон Петрович, тебе-то он отец!

– А как он продал? Этот самолет?

– Да не продавал он ничего! – воскликнула Маша. – Это они его так обвинили!

– Кто – они? – спросил я.

Маша будто опомнилась, замолчала. Стала оглядываться, сказала:

– А там, за дорогой, что? Речка там?

– Там, – ответил я. – А кто его обвинил? Милиция?

Маша вздохнула и жалобно посмотрела на меня:

– Он же ни в чем не был виноват. Его забрали. А потом они и меня вызвали. Но я говорила одно, что я его лечила. Они мне про какие-то чертежи, а я им про простуду. Они про врагов народа, а я про то, как он температурил... Ну и выпустили. Не сразу. Через три года. Я ведь не была женой ему... Официально... А его увезли...

– Куда? – спросил я.

– Не знаю. Это у них называется «без права переписки». Я пыталась узнавать... Я ходила, спрашивала... А они, значит, меня спрашивают. А кто вы, спрашивают, ему будете, что о нем печетесь? А я им отвечаю, мол, никто... Но у него ребенок остался, так я хотела бы взять на воспитание. И хочу его найти... Не беспокойтесь, говорят, его воспитывают без вашей помощи, и не хуже. И не надо искать. Идите и успокойтесь, займитесь своими делами. А я и так занимаюсь, меня устроили, с трудом, правда, санитаркой в больницу. Это теперь, в войну, когда медиков-то не стало хватать, опять врачом вернули... А тебя так запрятали, что долго не могла следов найти. Тем более и фамилия стала другой: Кукушкин. Пойдем сходим к речке, – сказала Маша.

Я теперь ее стал про себя Машей звать. За то, что накормила. Но вслух, конечно, я ее никак не называл. Еще не хватало! Но к речке сходить согласился.

Мы пересекли железную дорогу, а за ней развалины бывшего кирпичного завода. В поле, по тропке среди конского щавеля и куриной слепоты – других цветов, кроме этих, я не знал – мы спустились к нашей речке. Ее Пехоркой зовут. Она и не широкая, и не глубокая, но сравнивать мне не с чем, я другие речки только в кино и на картинках видел. А купаемся мы в омуте и ныряем с дерева, даже саженками плаваем. Обо всем об этом я стал говорить Маше, но видел, что мысли у нее от этой речки далеко. Она еще рассказанное про Антона Петровича переживала. Особенно как его менты пришли брать... Я представил Наполеончика, и мне тоже стало неприятно. Хотя, с другой стороны, враги и шпионы окопались кругом, их только в нашем поселке не видно. А так в кино посмотришь, так все они нам вредят и вредят. В «Ошибке инженера Кочина» они тоже наше изобретение выкрасть хотели. А вот недавно шел фильм про шахтеров... Артист Андреев вместе с Ваней Курским уголь добывают, прям, как сказал наш Шахтер, очень похоже... Только там, где он работал, никто забоев не взрывал. А в кино двое, значит, один песню поет про курганы и на гармошке играет... Девушки пригожие, на чертей похожие... А сам как Ваню Курского возьмет за горло и не дает ему стахановскую вахту нести, рекорд, значит, ставить... И другой, тот столбики все бил, чтобы все завалилось, ну их, сучиков, и схватили, конечно. А Ваня Курский и Андреев все равно рекорд сделали и потом с молотками так гордо в конце идут, с песней... Прям здорово! Как герои!

Мы сидели на берегу, и я Маше кино пересказывал. А она грызла травинку и молчала.

Вдруг она спросила:

– А ты ничего-ничего не помнишь? У нас ведь тоже река была... Большая-пребольшая... А еще мосты...

Я сделал вид, будто пробую вспомнить про большую речку и про мосты. Но ничего я помнить не мог и хорошо знал, что вспоминать мне, кроме Пехорки, нечего.

– Но, может, дом... или трамвай... Около вашего дома... А?

Трамвай я тоже не помнил.

– А еще, – сказала Маша, – ты, и папа, и я пошли гулять на его аэродром, это праздник авиации был... Мы пролезли под колючим забором, и папа смеялся, когда ты задел штанами за проволоку...

Я молчал. Но что-то меня насторожило. Сам не знаю что.

– А потом были парашюты...

– На поле? – спросил вдруг я.

– Да. На поле.

– А сливы были?

– Сливы? – спросила Маша растерянно. – Какие сливы?

– Ну, там же продавались сливы... – сказал я. – Или не сливы... Или... не продавались...

– Не знаю... Может быть. – И она, помедлив, воскликнула: – Были сливы! Твой папа в палатке купил и нас с тобой угощал!

А я уже не мог понять, откуда я взял эти сливы. Вроде бы помнил, что проволока и сливы... Ну и еще парашюты... А может, и не было ни парашютов, ни слив, а видел я их в кино?

– Но сливы-то, сливы откуда? – закричал я.

– Твой папа купил, – ответила Маша.

– Да я не о том...

– А о чем, Сергей?

– Не знаю.

Я и правда не знал, чего я так взвинтился. Я сказал Маше:

– Пойду искупаюсь.

– А не холодно? – спросила она.

Я лишь усмехнулся ее страху. На фронт собралась, а того не знает, что мы тут до сентября не вылезаем, Бесик же, как самый бешеный, однажды на спор в октябре залез.

Я разделся за кустиком, трусов у меня нет, и оттуда я спросил Машу:

– А почему ты думаешь, что я в сентябре родился?

– Как почему? – удивилась она. В мою сторону она не смотрела. – Я же была на твоём дне рождения.

– Это когда? – я спросил так, будто мне неинтересно. Она задумалась:

– Это было... Да. Правильно. Шестого числа. А тридцать девятого года тебе как раз шесть лет исполнилось. А через неделю его забрали.

10

Не скажу, что мне так уж хотелось купаться.

В одиночку без ребят купаться неинтересно.

Но, во-первых, я хотел побыть один. Во-вторых... Во-вторых, я тоже хотел побыть один. И в-третьих, и так далее. Чтобы не смотреть на эту приезжую Машу, которая начинает вся слезиться, как только речь заходит об ее Антоне Петровиче.

Вот когда она меня кормила, она и правда была красивой. Прямо-таки сияла, как стеклышко, от нее такой теплый-теплый дух исходил, как от деревенской печки, у которой я однажды грелся. Мне показалось, что она и пахла по-другому. А когда стала шпионские всякие дела рассказывать, то вся похолодала, я даже подумал, а не шпионка ли она сама, вот и наш Чушка ее заподозрил, даже у окна подслушивал!

Но потом я решил, что она не шпионка. Шпионы другие. Про них стихи: «...в дверях стоит конвой, и человек стоит чужой, мы знаем, кто такой»... «Есть в пограничной полосе неписанный закон: мы знаем все, мы знаем всех: кто ты, кто я, кто он!» Да и чего, если посудить здраво, шпиону или шпионке в нашем «спеце» делать? Кормить голодного шакала сливочным маслом и консервами? Та к нас много таких найдется, за чужой счет пожрать! А тайну или секрет какой военный мы все равно не скажем, потому что мы его не знаем. Да я так думаю: у нас тут тайн нет! Вот жуликов у нас много. Только это ни для кого не тайна. Разве что для этой Маши.

Я нырнул и, затаив дыхание, подержался за корягу так долго, сколько терпежу хватило. Я думал, под водой мыслей не бывает, а только одно – как выплыть и воды не нахлебаться. Но и под водой всякая ерунда по поводу Антона Петровича и Маши скребла мне изнутри голову. Тогда я вылез, попрыгал на одной ноге, выливая из уха воду, а потом скорей натянул штаны. От спешки споткнулся. Поцарапал коленку.

Подходя, увидел, что Маша все собрала, а банку из-под консервов, вот досада, зашвырнула в камыш, ее там теперь ищи-свищи. Да бычок, покурив, тоже выбросила, это я еще из-за кустов видел. А мне она сказала:

– Поди-ка, Сергей, сюда! Да ближе, ближе!.. Ты же ногу раскровил! Давай быстренько полечим!

И не успел я ойкнуть, как она достала из сумочки пузырек с йодом и ловко, невзирая на мои вопли, раскрасила пятнами всю коленку.

Как я ни отбрыкивался, ни лягался, приггла и отпустила. Руки оказались у нее сильными. Но хоть и сопротивлялся, а почему-то было приятно, что она так упорно меня лечит!

– Ну вот, – сказала удовлетворенно. – Хорошо, что по старой привычке я лекарства таскаю с собой. Ты меня на станцию не проводишь?

– Нет, – ответил я.

– Почему?

– Нога болит.

Это я ей мстил за принудительное лечение. Но ломался я для виду. На станцию с вывеской «Голятьвино» во весь фасад мне жутко хотелось попасть, да еще так, законно, под прикрытием Маши. Самим нам туда появляться запрещено. Хоть мы, конечно, появлялись. Но если там нас излавливали – сажали в карцер, без еды.

Строже карали лишь за побег.

Но именно станция из всех зланных местечек поселка нас, шантрапу из «спеца», притягивала больше всего. Тут из Москвы и на Москву проходят поезда, оставляя за собой на грязной насыпи огрызки, объедки, бычки, а иной раз что-нибудь и поинтересней. Бесику однажды повезло, он наткнулся на коробочку с изображением Красной площади и Мавзо-

лея Ленина, а изнутри коробочка была как в кружевах, а запах был такой... ну такой, какой никто из нас не унюхивал до сих пор! Так что мы вдыхали, поднося к лицу, целую неделю: по очереди! Голова кружилась!

Но Маше я не стал ничего объяснять. Она все равно не поймет. Мы двинулись к станции, но уже не по улицам поселка, а прямо по путям, тут многие так ходят, чтобы сократить дорогу. Маша легко прыгала через шпалы, я едва за ней поспевал. А потом мы пошли рядом, и я спросил:

– Как ты меня узнала? Среди всех?

Это бы надо было спросить давно, хотя бы там, у речки. Тогда бы не скребло шибко в голове. Но вот я представил, что она уедет, а я так и не узнаю, кто же я на самом деле. И будет меня, хоть ныряй, хоть не ныряй, сверлить эта мысль. Лучше уж отмучиться сразу.

Как говорят, спросил – и головой в омут!

Маша не ответила мне. Она молчала и шла. И все молчала. Я решил, что она не услышала моего вопроса, а второй раз уже не захотелось спрашивать.

И вдруг она сказала:

– Знаешь... Сергей... Я тебе и так, кажется, наговорила лишнего, – и сильно при этом вздохнула. И я понял сразу, что она добрая и несчастная. Даже стало ее жалко. Меня вот скребет неделю, и то измочалился, а ее скребет небось сколько лет! – Ведь правда же, – и она опять вздохнула. – Не надо вешать на тебя такие гири.

– Не знаю, – ответил я.

– А я знаю. И приказала себе: «Замолкни!» Так, что ли, выражается ваш директор? «Замолкни» – вот я и замолкла. А ты меня спрашиваешь... Будоражишь...

– Ну, не буду, – буркнул я.

– Почему же ты не будешь? – Она рассердилась. Даже замедлила шаг, уставясь на меня. Вытаращилась так, что я не выдержал, отвернулся. – Я тебе, конечно, отвечу. Ведь речь идет об отце... О твоём, Сергей, отце...

Я молчал, глядя под ноги.

– А узнала я тебя просто... Как же тебя не узнать, господи! Как две капли на него похож!

– На кого?

– Да на отца своего! Я вначале от волнения как следует и рассмотреть тебя не успела. Только знала, что ты – это ты... Как он на фотографиях! В юности!

Фотографии почему-то меня больно царапнули. Может, потому, что я никогда никаких фотографий не имел?

– А он... какой?

Я не сказал «отец». Не могу я произнести это непонятное, совсем чужое слово.

Тут прогудел позади поезд. Мы сошли с рельсов, и пока эшелон – а это был военный эшелон с машинами или танками под брезентом – грохотал мимо, взбивая угольную пыль, Маша мимикой, жестами пыталась мне рассказать об этом человеке. Она показала рукой рост, мол, высокий, потом показала плечи, раздвинув широко руки, а потом нарисовала пальцем колечки на голове, что означало – он курчав... Она гримасничала, изображая, и это было смешно, как в немом кино. А когда поезд кончился, и шум схлынул, и остались лишь легкое позванивание рельсов да клочок бумаги, поднятый вихрем, мы опять пошли по шпалам. Она спросила, заглядывая мне в лицо:

– Ну, ты что-нибудь понял?

Я кивнул. Понял, мол. А чего ж тут не понять. Не такие уж мы придурки, хоть именно такими нас считают в «спеце». Не понял я лишь одну маленькую малость – мелочишку, ерундовину, скажем... На самом деле этот нарисованный красавчик – мой отец? В общем-то меня прилизать да сфотографировать, я, может, и не таким выйду... И в ширину и в высоту! Да нет, вру! Меня, как ни снимай, да всех нас, кто посмотрит, с первого взгляда определит:

этот? дохляк из «спеца»! И не в ширине, и не в высоте тут дело, хоть никакой у нас ширины и высоты от голодухи быть не может. Клейменные мы, вот в чем дело! А тот, кто якобы отец, он-то нам на память свое клеймо, если посудить, значит, и оставил. Тем уже, что он был... Если он был... И тогда я спросил, сам не знаю, зачем:

– А сейчас... он... где?

Маша пожала плечами и отвернулась. Я понял, что она снова может заплакать.

– Скоро станция, – сказал тогда я. – Ничего, если я соберу бычки?.. Это не для меня...

Правда. Это для Шахтера!

– Собирай, – ответила она равнодушно. Потом спросила: – А может, ему дать папирос?

– Вот еще! Он к ним непривычный! Ему заплеванные бычки слаще всего!

Но Маша не поняла моего юмора.

– Ну, какая же разница, – удивилась она и достала из сумки нераскрытую пачку «Беломора» и, ничуть не колеблясь, отдала мне. – Ты сам-то не куришь? Но пробовал, конечно?

– Пробовал. У нас все пробовали. Даже Сандра.

– И как? Дрянь?

– Не знаю.

– Но я знаю. Если бы не заключение... Я бы сама курить не стала. И отец твой, кстати, не курил. Он, знаешь, сладкое любил.

Тут мне стало смешно: дурочка эта Маша, кто же не любит сладкого? Только пусть объяснит, как его любить, если оно нас не любит!

Мы пришли на станцию, и Маша велела мне ждать. Ходила она долго, я успел целую кучу бычков набрать и вдобавок пустую коробку от спичек. И еще военную пуговицу.

Она вернулась и сказала:

– Все сделала. Билет оформила, у нас есть время. Ты есть хочешь?

Вопрос такой же дурацкий, как про сладкое. Кто и когда, покажите мне такого идиота, не хотел бы есть?! Есть можно все и всегда. Беда лишь, никто нам почему-то есть не предлагает. Наоборот, стараются сделать так, чтобы мы не поели даже того, что положено. А впрочем, что нам положено? Может, нам ничего не положено. А если дают, то захристаряди. И мы должны быть счастливы, что вообще дают.

Маша поняла по моему молчанию, что сморозила глупость. Она взяла меня под руку и подвела к дверям в ресторан:

– Вот здесь мы и посидим до поезда. Ты согласен?

– Согласен, – хрипло произнес я.

Еще бы не разволноваться: я пересекал незримую черту, отделявшую всех нас, тутошних, голодных и бесправных, от настоящего рая. Так, во всяком случае, это нам представлялось. Затая дыхание, я вошел вслед за Машей, теряясь от большого прохладного зала с мраморным полом и колоннами, с множеством столов, где белели скатерти и что-то на них стояло. Но с испугу я не рассмотрел, что же на них стояло. Я увидел окна с бархатными занавесками, это из-за них, прилипая к стеклам, мы не могли тут ничего рассмотреть; кадки с настоящими деревцами и огромную картину на стене. Верней же, вся стена – это и была картина. А на ней, как живой, стоял сосновый лес, а по лесу гуляли медведи. Я даже рот открыл, уставясь на картину, да вовремя спохватился, рукой сам себе рот прикрыл. Но ведь правда, такую красоту я видел впервые. Посмотрели бы Кукушата, они бы не так раззявились! Но я им все, как есть, разрисую. Я ведь хоть за теткой спешил, а запомнил подробно: деревья золотые, освещенные солнцем, и одно из них повалено, и медвежонок по нему карабкается вверх. Этот, значит, лезет, а другие рядышком промышляют. Прямо как наш брат из «спеца». Если бы мне сказали, например, что картина зовется «Шантрапа на свободе» или «Шантрапа на промысле», я бы сразу поверил.

Я бы надолго застрял посреди зала, но очухался, когда Маша легонько толкнула меня в спину:

– Давай пройдем к столику. Оттуда ты сможешь все увидеть.

11

Я сел так, чтобы не прикасаться к скатерти. Теперь я рассмотрел, что на столе стояли ваза, пустая, и еще какие-то пузырьки, в них, как потом выяснилось, была соль и что-то еще, совсем бесплатное. И никто не шарапал, не крал, не совал в карман. Чудно. У нас исчезло бы сразу. Мигнуть не успели.

Тут подбежал к нам человечек в белом халате. Станный такой человечек, недоросток, но горластый, с глазами жулика. Уж кого-кого, а жуликов-то я узнаю везде. У них взгляд такой: бегающий и нахальный.

Маша достала из сумки карточку с цветными талонами. Человечек отрезал ножницами несколько талонов, показал на листочке какие-то названия блюд и пропал.

А Маша посмотрела ему вслед и засмеялась:

– Это Филиппок... Так его здесь зовут. Кормил меня в прошлый мой приезд. Он похож на артиста Карандаша. Ты же слышал про Карандаша, который выступает в цирке?

Я уже перестал удивляться глупым Машиным вопросам. Ну кто же в «спеце» не знает Карандаша. Вот недавно в картине его смотрели, картина называлась «Наш двор». Там Карандаш под потешную музыку бегают с портфелем, потому что он домоуправ, и хочет организовать работу по уборке двора, а у него, дурачка, все валится из рук, и ничего он делать не умеет. А все остальные трудящиеся даже очень умеют все делать. Они дружно выходят во двор, и пока Карандаш потешно бегают и всем мешают, трудящиеся разбирают свалку во дворе и делают ужасно красивый порядок.

Пока я пересказывал Маше картину, я про себя подумал, что этот Филиппок с черными комичными усами даже очень напоминает Адольфа Гитлера, каким его рисуют в газетах... «Собирает он команду, посылает на восток, а немецкая команда будет драпать без порток».

Маша улыбнулась стихам. А сама она помнила другой фильм, про поезд, который идет, и все хором поют: «Тра-та-та, красота, мы возем с собой кота, чижику, собаку, Петьку-забияку...» В общем, там поют, а один толстяк все ест и ест, а Карандаш, вот как здесь, в ресторане, бегают с подносом, и все-то у него с подноса валится, и тарелки, и хлеб... Правда, Филиппок – хороший официант, и у него ничего не валится.

Тут он снова к нам подбежал и поставил передо мной и перед Машей настоящие белые тарелки, я из таких еще не ел, их и разбить немудрено. А в тарелках дымилось что-то вкусное, запах продирал до кишок. Тут же Филиппок положил мне две железки, одна из которых нож, а другая вилка. Нож я пощупал на остроту, заточен так себе, а вилка мне понравилась: если ею кого пырнуть, так не хуже иного гвоздя будет. А Филиппок вернулся и поставил графин с красной водой, а к нему стаканы, которые у них называются бокалы.

Маша сказала:

– Это морс... Он сладкий. Давай выпьем и поедим.

Я сразу подумал, что вот такой морс Антон Петрович небось с ней и пил.

Я взял стакан двумя руками и все сразу выпил. Облизал стеклянные края и губы. А вот есть оказалось нечем, ложку-то они не дали. А попросить у Филиппка я побоялся, рявкнет еще: куда, мол, стянул? Но пока я раздумывал, Филиппок из-за моей спины положил ложку.

– Вот, сударь... Для удобства, – и улыбнулся в усы.

Это я-то сударь, ну прям кино! И как он, ловкач с быстрыми глазами, успел догадаться, что мне тут ложка нужна!

Но у нас и правда как в кино, где я был не совсем собой, а кем-то, кто играл меня. И странно видеть эту игру и знать при этом, что сидит-то не кто-нибудь, а сиюю взаправду я, хотя в это трудно поверить.

Кукушата, конечно, не поверят. Да я и сам завтра не поверю, когда буду вспоминать. Вот бы всю жизнь отсюда не уходить, а занять место, вилку с ножом за пазухой заханырить да другие стекляшки, чтобы не потырили, а стул можно тоже с собой носить. На плече или за спиной. Он и не тяжелый совсем.

В этот момент произошло еще одно событие.

В конце зала в углу, рядом с деревом, появились два человека. Их никто, кроме меня, и не заметил. Все торопливо пожирало из своих тарелок. Один из прибывших, весь какой-то членистоногий, в военной форме, но без погон, поднес к подбородку скрипочку, а другой, черный, толстый, носатый, из носа волосы, но с гармошкой, вдруг заиграл что-то протяжное, а скрипач весь задергался, затопал ножкой, задвигал быстро смычком, закрутил головой – и появилась музыка. Настоящая музыка, которую все могли слушать. Но все жевали и делали вид, что они не слушают, а слушал один я, забыв про ложку и про тарелку. И вот что меня сразило: скрипач и гармонист тоже делали вид, что им никто не нужен, а будто они играют только сами для себя! Ну, и для меня. Ведь я-то слушал!

Маша пристально посмотрела на меня, наверное, догадалась, о чем я думаю.

– Это здешние музыканты... Хорошо, правда?

– Не знаю, – сказал я.

– Все-таки хорошо. Старинный вальс. А вот как зовут их... Сейчас вспомню... Да, правильно: Марк Моисеич, это который со скрипкой, а тот, с баяном, Роман... Они в прошлый раз играли. Но ты ешь, они еще долго будут играть.

Вот новости, чтобы меня просили есть. Я молниеносно схавал все, что лежало на тарелке, но языком вылизывать тарелку не стал. Потому что увидел, что Маша тоже не лижет и никто кругом за столами тарелок не лижет. Я пальцем все подобрал, а палец тот облизал. А чтобы не думать об еде, стал смотреть на музыкантов. Тот, который Марк Моисеич, все топал тонкой ножкой и медлительному, туповатому Роману кричал сердито в перерывах между музыкой:

– Тут же соль, соль нужна!

Я посмотрел на стол и подумал, что соли мы могли бы и своей им отсыпать за такую игру, если только Филиппок не заметит. Жулики – они приметливые. Но Маша ухватила мой взгляд и поняла по-своему:

– Ты не наелся, Сергей?

Я вздохнул. Ну что можно ответить на такой глупый, дурацкий вопрос. Как ей объяснить, что мы, которые из «спеца», можем есть много, очень много, в общем-то сколько нам дадут. И если будут давать без конца, то мы без конца будем есть. Даже сто тарелок! Хотя сто тарелок нам никто никогда не даст. В том кино, рассказанном Машей, жирный толстяк, который все время ест и ест, и тот не получал сразу, наверное, сто тарелок!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.